

ЕЛЕНА
ЧИЖОВА



ВРЕМЯ
ЖЕНЩИН

Роман

Елена Семеновна Чижова
Время женщин
Серия «Время читать женщин»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4911594

Время женщин: Астрель;

ISBN 978-5-17-152910-9

Аннотация

Елена Чижова – коренная петербурженка, автор многих книг, среди которых «Повелитель вещей», «Город, написанный по памяти», «Китаист». В большинстве из них действие происходит в Петербурге, что определяет и атмосферу романов, и психологию героев.

Роман «Время женщин» был удостоен премии «Русский Букер», переведен на двадцать языков и стал финалистом нескольких иностранных премий. Он стал литературной основой спектаклей в театре «Современник», БДТ имени Г.А. Товстоногова и других.

Ленинград, рубеж 1950–1960-х. Коммуналка, где живут три одинокие старухи «из бывших» – Ариадна, Гликерия и Евдокия. Волей судьбы они становятся самыми близкими людьми для немой девочки, которая «разговаривает» с ними с помощью своих рисунков. О той жизни, о своих бабушках, об ушедшем,

но не исчезающем прошлом ведет рассказ выросшая девочка,
художница...

Содержание

I	7
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Елена Семеновна Чижова

Время женщин

© Чижова Е.С.

© Рыбаков А.И., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

Моим бабушкам

Мое первое воспоминание: снег... Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать...

В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили – даже самых первых слов. Конечно, я их спрашивала, а они отвечали, что я всегда все понимала и рисовала картинки – вот им и казалось, будто я с ними разговариваю. Привыкли отвечать за меня. Сами спросят, сами и ответят... Раньше мои картинки лежали в коробке. Жаль,

что они не сохранились: тогда я бы все вспомнила. А так не помню. Даже маминого лица.

Бабушка Гликерия говорила, что у нас была фотография, маленькая, на паспорт, а потом ее потеряли, когда заказывали портрет. Железный, для кладбища. Он тоже пропал. Может быть, отчим так и не собрался съездить, а Зинаида выбросила – как и мои картинки.

Я еще долго не любила зиму: тревожилась, когда падал снег. Думала о маме... Мне казалось, ей очень холодно – в летнем платье... Потом это прошло, но тревога осталась, словно в детстве, которое стерлось из памяти, было что-то страшное, о чем мне уже не узнать...

І

Мать

Лук крошу, а сама киваю: старухам виднее – пора так пора. А чего скажешь? Строгие. Где уж мне против них?..

Прежде-то нажилась в общежитии, в тесноте, да не в обиде – комната на восемь коек. А нынче – вольно... Спасибо месткомовским. Зоя Ивановна так и сказала: «Чего уж теперь... Разве дите виновато? Родила, так родила – обратно не пихнешь. У нас ведь как? Мать всему голова: и напоит, и накормит. Ну и что – без мужа? Нынче и таким помощь и почет. У Сытина, мастера с шестого, прибавление: двое у них теперь. Значит, отдельная, двухкомнатная полагается. Вот и вселяйся на их место».

Девять с половиной метров – сама себе барыня. Вот бы мать-покойница хоть одним глазком...

Им-то чего: «Не ты первая, не ты последняя. И помни: ребенок наш, заводской. Значит, общий. Для власти падчериц нету. Так что не сомневайся: ясли, сад, подрастет – лагерь. Да и ты, небось, не одна – в коллективе. А вот таишься зря. Не ветром же надуло. Таких кобелей, да мигом в ежовые рукавицы!»

Смолчала. Больше не спрашивали.

Думала, хорошо, что город. Вон их – ходят по улицам. Ты-

щи и тыщи.

Не то что деревня. Там бы прознали – все мужики наперечет...

Если б с завода, может бы, и открылась... Зоя Ивановна больно ласкова. А так – чего скажешь? Только имя и знаю. Ни адреса, ни фамилии...

Евдокия бровью повела:

– Масло постное кончается.

Гляжу, куда там... Кончилось. На самом дне остатки. Пьют они его, что ли? На той неделе брала.

– А лук-то?.. – оглядываюсь. – Обжарить ведь надо.

– Так ты, – учит, – на маргарине обжарь.

Сам красивый был, статный. А не поймешь его. Выражался чудно – по-городскому.

«Вы, – обращается, – девушка, давно ждете?» Кивнула, а сама молчу: неловко с незнакомым. Вроде и вежливый, а все равно. Постоял-постоял, снова спрашивает: «Это вы к Деду Морозу собрались?»

«Как это?» – даже удивилась.

«А мешок у вас, – кивает, – вместительный. Для подарков?» Смешно мне стало. «Какие, – улыбаюсь, – подарки! На рынок, за картошкой». Тут он брови поднял: «На рынок? – переспрашивает. – С мешком?»

«Так, – объясняю ему, – воскресенье. На всю комнату взять». – «На комнату? – головой качает. – А как же – на

прихожую? Голодной останется? Или комната у вас добрая, поделится со всеми?..»

Тыльной стороной смахнула луковые слезки. Улыбнулась тайком.

Мешаю, мешаю... Все ж таки плохо на маргарине. Брызгает во все стороны. Руку всю ошпарила. Евдокия и тут наставляет:

– Мылом хозяйственным помажь.

Постоял-постоял, к фонарю пошел. А ноги длинные, как у журавля. Ходит, притопывает. На часы глянул: «И сколько ж нам ждать?» Терпения у него нету, замерз, видно. И ботинки тоненькие, на рыбьем меху. «Да скоро теперь, – утешаю. – Я вон давно стою...»

«Не-ет. Гиблое это дело, – оглядывается. – Стоим, стоим, а народу никого». – «Так спят же». – «Спят? – переспрашивает. – Правильно. Вот и мне бы так, дураку...»

Да уж, думаю. И лицо какое-то мятое. Видать, гуляли всю ночь. А перегаром не несет. Наши мужики как с вечера выпьют, прям до обеда перегар.

«А вы, – с духом собралась, – рано-то... Тоже, видать, по делу?» – «А как же... – глаз прищурил. – Проснулся и – на рынок. За картошкой». – «Ой!» – обрадовалась. А он оглядел меня и говорит: «Удивляюсь я, девушка. Вы что ж это, в Америке учились?»

«Почему, – напугалась, – в Америке? В деревне. Малые

Половцы». Брови свел: «В нашей, – уточняет, – в советской? А главного не помните: куда коллектив, туда и я».

«Какой коллектив?» – совсем сбилась. «А мы с вами? – смеется. – Граждане, собравшиеся на остановке... В сложившихся обстоятельствах предлагаю взять такси...»

В гости к себе привел. Квартира большая, просторная.

«А где же все?» – спрашиваю. «А все, – говорит, – на даче. В смысле, предки».

Как же это, думаю, на даче? Зима ведь...

«А где же, – оглядываюсь, – соседи?» – «Увы. – Руками развел. – Этого добра не держим. Живем, как при коммунизме».

Зашла. И правда. Богато живут. Стол письменный, книжки по стенкам расставлены. Над диваном мужик бородатый. Кофта на нем вязаная. Висит в рамке. «А это кто ж?»

«Да, – рукой махнул, – есть тут один». Может, догадываюсь, тоже из предков. Под бородой разве поймешь...

Посидели, кофе сварил. Чашки тонкие, белые, прямо пить страшно. Не дай бог ручка отломится. «Сахар, – подвигает, – клади». Глотнула, прямо сморщилась. Две ложечки положила, а все равно горько.

«Черный кофе, – говорит, – на любителя. Распробовать надо. А ты не горюй, привыкнешь». Глоточек отпил, отставил. Сам-то, видать, не больно привык...

И вина ведь не пили, а я будто пьяная. Голос его слушаю.

Не знаю, как и случилось... Видно, затмение на меня нашло...

Ящик дернула, нащупала терку. Теперь морковину потереть... Лук шкварчит, шкварчит... Выключила конфорку. А рука-то ноет. Воду отвернула – сунула под кран...

На неделе в кино позвал. А я и рада. Девкам нашим завидовала: парочками гуляют. «Ко мне, – объясняет, – нельзя. Предки с дачи при-мчались. Наслушались радио». Сам хмурый какой-то.

Приходим, а там комедия. «Карнавальная ночь».

«Вот хорошо, – говорю. – Нашим всем понравилось». Пожал плечом.

Из кино выходим. Я-то радуюсь, а он – туча тучей. «Что, – удивилась, – не понравилось? А мне – прямо очень... Вот нам бы так... Хорошая у них жизнь, как в сказке».

«Кончились сказки, – усмехается. – Про Венгрию слыхала?...» – «Про какую Венгрию? По телевизору, что ли? Так знаю. На политинформации объясняли: враждебные элементы... Против нас чего-то надумали. И чего им там не живет-ся?»

Гляжу, а у него рот дернулся – как плетью ожгло. Глаза мутные – не мертвые, не живые. Будто рыбы. Рукой махнул, пошел...

Побежать за ним?... А сама стою. Так и стояла, пока не

скрылся...

– Ой, забыла! Я ж вам – постного сахарку.

Это они любят. Цветной, самодельный. Распустишь с вареньем, постоит, схватится – вроде карамели. Ножом поддела. Пусть клюют.

Так-то всегда с колотым. Не дай бог песок подать. Щипчики маленькие, блестящие. Старинные. Теперь таких нету. Колют звонко, мелко. Возьмут кусочек и – в рот. Прихлебнут и сосут. Раньше думала, жалеют. Что ж, на сахар не заработаю? Нет, отвечают, так вкуснее. И девку, поди ж ты, приучили. Сахарницу придвинешь – отодвигает...

Въезжала, девки стращали: «Как еще уживешься, с соседями!» В общежитии-то свои. А тут – чужая, деревенская, с дитем. Поди, говорят, с женой сытинской посоветуйся: может, чего дельное скажет.

Нашла ее. «Ты, – говорит, – старух не бойся. Главное дело – поставь себя: пусть не думают, что хозяйки. В кухне мое место займешь – я хорошее отбила, у окна. А так, если что, возьми да прикрикни: по углам и расползутся. Жалко, мужика у тебя нету – моего-то боялись...»

Въехала. Ничего, тихие старухи. А все равно боязно. Сытина-то баба здоровая, поперек себя шире. Гаркнет – хоть святых выноси.

Первое время тишком старалась. Утром в одеялко закрутишь, коляска под лестницей – на замке. Замок тяжелый, на

цепочке. Коляску завод подарил, замок сама купила – в хозяйственном. Вниз – бегом, замок отопрешь, под матрасик на дно засунешь и наверх – за ребенком. Погрузились и – метель, не метель, – в ясли. Бросишь нянькам – и на работу. Ясли свои, заводские. Все одно – душа болит. Бывало, надо во вторую, мастер попросит. К ночи приходишь – нянечка дежурная. Разбудит, замотает, принесет. Все бы ничего – хворать стала. Зоя Ивановна утешала: «Все дети болеют, и твоя отболеет».

Ясли на балансе – завод персоналу доплачивает. Да и мамки к праздникам носят – кто конфеток, кто чулки. Носить-то носила, а как спросишь? Грудничков много, а нянька одна. То мокрая наорется, то животик схватит. Умаялась с больничного на больничный. И выписывали, конечно, по среднему: разве сравнишь, когда с выработки.

Сперва ничего. Температура подыметесь, лекарства накапашь. День-другой, и спадает. Потом уж судороги начались. Посинеет, закатится вся. Глаза мутные, белые. Все, сердце замрет, кончается. Решилась в деревню отдать. Мать еще жива была. Тут старухи и явились. Легли костями.

У самих – никого. Мужья-дети сгинули, поумирали. И внуков нету. Иди, говорят, работай. Неужто не вырастим втроем?

Так и повелось: сама на работу, с работы – по магазинам, там отстоять, тут отстоять, и дома вроде прислуги. Постирать на всех, убрать, сготовить. Пенсии у них – слезы. Свои

приходится докладывать. Зато дите как принцесса. Почитай, три няньки на одну – и присмотрена, и причесана. Гуляют, книжки читают. Учат, кому сказать, по-французски.

Девка умная – одно слово, городская. Картинки всё рисует. Буквам в четыре года выучилась. Понимает все. Только не говорит. Пять лет, шестой, а все молчком.

Так ведь сама и виновата. Молчала до последнего, пока живот не полез. Беременных-то у нас переводят. Принесешь с консультации справку, заберут из вредного. Кого в уборщицы поставят, кого на склад. Мужним – что? Они в своем праве. А тут – как признаешься? Стыд...

Раньше, до указа – ни-ни. Не убереглась – рожай. Да девок наших разве удержишь – чуть что, тайно избавлялись. Одна, говорили, прямо заладила. Мужики смеялись: вот паразитка, цельную бригаду извела. А ей хоть бы что – отлежится и опять за свое. А две, рассказывали, померли. Вроде заражение крови. Указ-то вышел – теперь пожалуйста: ходи хоть каждый год. Страшно, конечно: по живому режут. Да делать нечего – решилась.

В больницу пришла, а доктор: «Поздно. Срок большой. Теперь рожай».

Таблеток в аптеке купила. Выпью, думаю, может, скину. Неделю пила. Куда там...

Три года исполнилось, повела в поликлинику. Докторша рот смотрела, картинки на столе раскладывала. Так, говорит, все нормально. Слышит. Понимает. Это у нее задержка раз-

вития. Ждать надо – может, заговорит.

Сказала, профессор есть в Москве. Ехать, снова деньги. А где ж их взять, думаю? И так от зарплаты до аванса...

По первости плакала все: ох, вырастет уродом... Ни в школу, ни в лагерь. А главное, без семьи. Кто ее замуж возьмет – немую? Век прокукует пустоцветом. Разве что немного найдет, себе под стать.

Старухи, спасибо им, утешали. На все божья воля. Придет время, заговорит. А бывает, идешь по улице. Кругом дети чужие – разговорчивые. Сердце кровью обольется. Отвернешься, слезы сглотнешь.

Старухи наставляют: там, на работе-то – молчи. Спросят, отвечай: хорошо все. У людей языки длинные, дурные. Все беды от языков. В глаза посочувствуют, а меж собой, кто их знает? Ославят. Оговорят.

– Щи кислые будете?

Будут. Суп полезно. Вчера хороший кусочек взяла – в гастрономе, на площади. Грудинка. Это они любят, с жирком. А то еще с косточкой. Хорошо, когда мозговая. «Мозги, – велят, – ребенку выбей. Мы уж чего...»

– В тазах у меня... Там, в углу. Бельишко замочено. Теперь уж вечером постираю, после смены.

Про старух ведь так и не знают. Сказала: мать выписала из деревни, она и смотрит. Зоя Ивановна тоже спрашивала. Нет, говорю, дома не болеет. А она: пока ясельная – ничего,

подрастет, в садик надо – в коллектив. Дескать, в школу пойдет, трудно будет. С непривычки. Подумала-подумала, может, и вправду с детьми-то свободнее. Разыграется, разговорится. Старухи не дали. Пусть, говорят, дома. Успеет намучиться. Теперь вот новое удумали: в театр.

На елку, что ли, спрашиваю? Так я взяла. Билетики в цеху раздавали, всем детным. Вынула, показала им. Сбоку талончик на подарок: Дед Мороз конфетки выдает, сласти всякие, вафли. Мороз Морозом, а завод, конечно, доплачивает. В цеху говорили, хороший. И шоколадка вложена. Мы-то не покупаем. И понятия такого не имеет. Когда батончиков соевых, когда карамелек...

Поглядели: нет. За подарком сама сходишь. А *она* не пойдет. Ей в другой – в Мариинский. И билета не надо – так пропустят. Там у них товарка знакомая. Вместе в церковь ходят. И проведет, и посадит, и присмотрит. Тоже одинокая: ни детей, ни внуков.

Костюмчик купить велели: шерстяной, китайский. Кофточка на пуговицах, рейтузики и шапка. Все дети, говорят, носят. Дорогой, поди, рублей шесть. И ленты в косы. Шелковые, под цвет.

Может, капроновых, спрашиваю. Нет, говорят, нельзя. От капронов концы секутся. Дома-то с вязочками ходит. Вязочки мягонькие. Бабки из старых тряпок рвут.

К раннему чаю собирались на кухне. Тут, пока дите не проснулось, решали все важное – строили планы. День открывался затемно, как долгий век. Дневное время, дальняя дорога, катилось с оглядкой на полосатые версты – раз навсегда.

В девять – встать, одеться, умыться. В десять сказка по радио. В два часа – обед. После обеда тихий час: спи, не спи, а полежать надо.

Меж верстами, в зависимости от погоды, занимались делами. Важнейшее – прогулка. Тут время не суенилось: подчинялось годовому кругу – по-деревенски.

В скверик у Львиного мостика ходили по весне. Весной в садах слякотно – закрывают на просушку. К Никольскому – осенью: под дубами, у ограды, полно желудей. В октябре облетали клены. Ходишь, шуршишь листиками... К ноябрьским – первый снег.

Зимой – тоже к Николе, или в Солдатский садик. Горка высоко-окая... Дети в очередь съезжают – кто так, кто на санках. Санки-то есть. Старые, хорошие. Да свою-то не больно пускали. И гулять приучились в сторонке, подальше от людей. С чужими детьми – беда: «Ой, а девочка ваша что – глухонемая?» Летом свободнее – кто в деревню, кто по лагерям.

Тут, за столом, едва получив ребенка на руки, пришли к

согласию: первым долгом – покрестить. Тайком, не докладываясь матери. В этих делах мать – сторона. Слава богу, в Никольском звонарь знакомый. Сам глухой, а все понимает. Согласился переговорить с батюшкой, позвать на дом.

По метрикам значилась Сюзанной. Имечко басурманское, прости господи. В прежние времена срамных девок кликали, чтоб заступниц святых не позорить. А теперь мать родная выбрала – кличку собачью...

Думали-думали, листали Святцы. Имен хороших не счесть, но первое попавшее не выберешь. Отец Иннокентий сказал: ищите сообразно метрике. Хоть по смыслу, хоть по заглавной букве.

Гликерия чего надумала: может, говорит, Серафимой... Нет. Решили в честь Софии.

Вечерами, при матери, избегали по имени: *ей*, для *нее*, *она*. Днем обращались ласково – Софьюшка. Меж собой – Софья.

Батюшка спрашивает: может, среди вас Вера есть, или Любовь, или Надежда? Ее бы и хорошо в крестные, чтобы Ангела вместе праздновать. Головами покачали: нету. Ни Любви, ни Надежды, ни Веры. Пока решали, чуть не перессорились. Крестная, конечно, одна. Она и перед Богом в ответе. Крестная – родня, а другие, выходит, кто – чужие? Отец Иннокентий примирил. Бог, говорит, со всех вас по очереди спросит. Которая первая пред Ним предстанет, той первой и отвечать.

И смех и грех: болячками стали мериться. У кого сердце больное, у кого ноги еле ходят. Отец Иннокентий говорит: человек сроков своих не знает. Бывает, Господь молодых-здоровых прибирает, а старых-больных не трогает. Разве проникнешь в Его замыслы? Согласились. Вспомнили молодых-здоровых. Своих.

Рубашечка крестильная у Евдокии Тимофевны нашлась. Долежала в комодке эва с каких времен. От Василия, сына старшего. Его уж и кости истлели, а рубашечка жива.

Материя тонкая, невесомая: ангельское облачение. Кружева вот только слежались, будто палое перо. Внуку не пригодилась. Сын с невесткой не дали: у нас, дескать, своя вера.

Сын-то в начальники вышел. «Я, – гордился, – нынешним не чета. С самой Гражданской с большевиками».

Тайком побоялась. Жизни их навредить.

Новую жизнь, смеются, строим, а вы, мамаша, норовите. Тащите в царское прошлое. Вроде на обратную дорогу. Нету пути обратного, а религия ваша – опий.

И чего выдумывают? Опий-то в аптеке продается – выпивают, когда от боли. И невестка – туда же. Вы, мамаша, вокруг себя оглянитесь. А мне, говорю, поздно оглядываться. Вы и оглядывайтесь. Вам этой жизнью жить. Не успели оглянуться, пришли за ними. Так и сгинули – в своем коммунизме. Спасибо, хоть внука не забрали: *та* бабка взяла.

Месяца два прошло, на Троицу: гостинец припасла, по-

ехала. Улучила минутку, пока мальчонка на дворе бегал, завела разговор. Давай, мол, хоть вместе сходим. Нехристом вырастет. Грех-то какой. Та напугалась: «Что ты, что ты! Прознают, мигом придут. В детдом ведь закроют. Там и сгинет».

Она и повезла в эвакуацию. Разбомбили их под Лугой. Значит, первой пред Ним предстала – ей первой и отвечать.

Рубашечку приготовили, постирали. Кружева ветхие – разложили на полотенце. Пока стирали, побелели вроде. А высохли, все одно – желтизна. Прокипятить бы... Да тоже побоялись: жизнь прошла – расползется в руках.

Водички согрели заранее. Батюшка говорит: ну, решайте и девочку свою облачайте. Принесли, надели на Софьюшку. Евдокия как стояла, лицом помертвела: легко ли сына-младенца увидеть воскресшим... Потом ничего, совладала с собой. Только нельзя, говорит, мне в крестные. Как погляжу на рубашечку, душа чернеет. Ты уж давай, Ариадна. У тебя все – слава богу: муж на Первой, сын – на Второй, внуки с невесткой в блокаду померли. Все по-людски.

Где ж, отвечает, по-людски, если во рвах лежат. Пусть уж Гликерия: она не рожала. Граф ее, муж невенчаный, от революции сбежал. Кто его знает, может, и теперь живой.

Ладно, решили. Ариадне виднее. Куда нам за ней... Образованная. По молодости и за границей пожила.

Гликерия – восприемницей, обе-другие за батюшкой под-

тягивают. Отец Иннокентий говорит: тихо пойте, чтоб никто не услышал. Кому слушать-то, отвечаем, нет никого.

Отслужил хорошо, не пропускал, не частил. Софьюшка-умница глазками моргает, прислушивается внимательно, будто понимает.

Только раз расплакалась, когда Гликерия отрицалась бесов. Евдокия на Ариадну глянула, будто полоснула ножом.

Сели чай пить. Батюшка улыбается: грешен, говорит, чаевник отчаянный. Люблю душу побаловать – с сахарком, да вприкуску. Самовары ведерные вспомнили. На конфорках не то. Кипяток жидкий выходит, без вкусу. В самоваре густо кипит.

К причастию, говорит, сами глядите – как получится. Ничего, отвечаем, теперь-то что, принесем.

* * *

Погодка хорошая. Морозно, сухо. Чуть потеплеет – самое время гулять. Во двор выглянули – белым-бело. А дворника и не видно. Раньше, бывало, до рассвета с лопатой выходит. Нынешние совсем разбаловались. Посидели, старое повспоминали.

Ариадна первой опомнилась. В кладовку пошла чулочки сухие снять. Евдокия за кашей направилась: мать с ночи сварила, сунула под подушку. Из-под подушки каша рассыпчатая. Гречинка к гречинке. Другую и не станет: ни манную, ни

овсянку. Евдокия ворчит: в садах-то что попало суют. Греча – дорогая, еще и достань поди. Хорошо, Антонине на производстве выписывают. По два кило в месяц: на саму и на ребенка.

Ариадна одела, вывела. Софьюшка приучена – сама к краю идет. Гликерия с ковшиком наготове. Летом в трубах тепленькая. А зимой греть приходится, чтоб на ручки слить.

Евдокия командует: ну, отдыхайте. Пусть ребенок в спокойное поест.

Поела и – за чай. Попила, чашку отставила. Креститься, боже упаси, не учим. Матери опасаемся. Вдруг увидит.

После завтрака Гликерия за пяльцы сажает. Шить-то рано, а вышивать – в самый раз. И гладью, и узелком, и вперед-иголкой. Утренний урок – лепесток желтенький. Пока не завершит, не отдаст.

Трудится, а Гликерия ей рассказывает: то про святых, то про Богородицу заведет.

Потом Ариаднин черед: сказку читать. У ней свои, французские. Книжка пухлая, с картинками. Как только в блокаду не спалили... Дочитает и за вопросы примется: сама спросит, сама и ответит. Чудно́ говорит – по-французски. А то и ошибется нарочно: проверяет – поняла ли? Софьюшка нахмурится, головкой качает. Пальцем в книжке указывает – не так, дескать.

Евдокия раз увидела: «Неужто и читать знает, или так – наугад тычет?» Ариадна обиделась: «Почему наугад? Я когда

читаю, пальцем вожу по строкам, чтобы она тоже следила. А буквы давно знает. Я еще весной показала».

«А ну-ка, – Евдокия удивляется, – задай какое слово. Пусть в книжке разыщет».

Софья улыбнулась хитренько, глазками по строчкам побежала – два раза нашла.

«Да ну вас! – радуется Евдокия. – Кто ж вас, грамотных, проверит – сговорились, поди!»

Софьюшка носик морщит. Смеется, значит.

* * *

Радио большое, черное – у Евдокии в комнате висит. Софья приходит, встает на стульчик. Включит, приникнет ухом. Тихонько, чтобы бабушкам не мешать.

– С вечера не спала, вот чего-то и вспомнилось: раньше конфетки были в коробках. Которые так насыпаны, которые – в золото обернуты. Откроешь, внутри щипчики серебряные. Иван Сергеич часто покупал – баловал меня.

Глаза веселые, улыбается, будто помолодела.

– Вот и разбаловал, гляжу, – Евдокия губы поджала. – Ишь, чего вспомнила: конфеты в золоте...

– Да разве ж я, – сморщилась, – по конфетам...

Евдокия сидит. Губы сухие, тонкие. Прямо в ниточку светла.

– Вчера, на Офицерской, гляжу, опять копают. Яму огром-

ную вырыли, пар из нее – клубами. Сбоку мостки, по краю треноги выставили. Софью веду, батюшки, нечистая сила: из-под земли-то голоса. Кто ж это там – в кипятке? Глянула: мужики. Двое, морды грязные, под трубой ковыряются. Так и смеются еще: «Чего, бабка, напугалась?» Напугаешься тут. Бесы, прости господи! Роют, роют. Скоро насквозь расковыряют. Не сидится им на земле.

– На Офицерской-то – где? – Гликерия сахарку наколола, высыпала в блюде. Сама ма-аленькая. Как воробышек.

– Да тут, за углом. Как она у них? Декабристов.

Гликерия сахарок сосет – задумалась:

– Декабристы-то эти когда прославились? В революцию или в войну?

– Бог с тобой. – Ариадна плечиком пожимает. – Это же еще в прошлом веке. Декабрьское восстание восемьсот двадцать пятого года. Против крепостного права.

Образованная. Книжки читает. Цельная полка у ней.

– А-а, – Гликерия головой покачала, – вон оно когда... Тот-то я не упомню. Это матери моей волю дали. Наши-то все из крепостных. Да мать-то тоже не больно радовалась. С господами, говорит, лучше. Те выгадали, кто в город ходил, на заработки. Так они и раньше свободно. В прежние времена везде платили. И барину хватало отдать, и семье.

– Вот и перед войной, – Евдокия за щеку взялась, – тоже все рыли. Иду как-то, думаю: и чего роют? Ох, ведь дороются. Невестке сказала. А та губы дует: трубы, говорит, про-

кладывают. При царе, говорит, не заботились, чтобы во всех домах – вода.

– А мать рассказывала, барин наш хороший был, добрый. И замуж силком не выдавал. Отец-то кузнецом у меня. Вот они с матерью приходят. А барин – ничего... Благословил их. Молодые долго еще ходили – благословения спрашивали. Уж и воля была, а все равно...

– Чего это, говорю, не заботились? У нас с прежних времен кран. И вода чистая, ничем не воняла. А мы, невестка мечтает, везде трубы поменяем. И поезда под землей пустим. Смеется...

– Раньше, до войны, – Гликерия вспоминает, – часто смеялись...

Евдокия сморщилась:

– Уж это они мастера. То смеются, то землю роют...

– Господи, – Ариадна вздыхает, – сколько же рвов безымянных... Как представлю, сколько с блокады осталось...

– С блокады!.. А Канал?

Гликерия перекрестилась:

– Народу больно много. Одни роют, другие в землю ложатся.

– Кабы так... – Евдокия чашкой пристукнула. – Думают, другим вырыли. А потом, глядь, выходит – себе... Ладно. – Клеенку разгладила. – С вами сидеть – греха набираться. Зуб, едитская сила, ноет. И рот-то пустой, совсем зубов не осталось, а всё болят...

Рейтузы из толстой шерсти. Гликерия кофту старую распустила, связала в две нитки. Валенки с галошами, беленькие. Теперь черные валяют. В голенищах ни согнуть, ни разогнуть – ходи как в колодке. Под шапку – платочек хлопчатый; завяжут, спросят: не туго? Пальто новое, теплое. Евдокия свое перелицевала. Драповое, ватин в два слоя проложила. У самой другое есть – на ее век хватит.

– Мы уж в Никольский, – повязалась, концы заправила. – Санки не давайте, пешком дойдем.

Ариадна дверь закрывает:

– Мимо пойдете, обрати внимание: может быть, елки привезли...

Лестница широкая, пологая. На каждом пролете две квартиры. Дом-то старый, а от прежнего один грот остался. Большевики не добрались. Тритоны, раковины морские – все в неприкосновенности. Софья идет, всякий раз оглянется. Любит сказки.

Ариадна когда еще заметила. Раньше ведь как: сидит, слушает, лишь бы читали. Хоть Красную Шапочку, хоть Буратину этого, хоть Бабу-ягу. А теперь выучилась – сама книжку несет: раскроет, подает Ариадне. Читай, дескать, про девочку, про Русалочку. Ариадна уж измучилась: сил нет. Сколько можно одно и то же читать... Ты ведь, говорит, наизусть знаешь. А она нахмурится, глазки слезами нальют-

ся: пальцем указывает – читай. Ариадна и хитрить пробова-
ла: то одно выпустит, то другое. Куда там! Выросла. Теперь
разве обманешь...

Гликерия первая догадалась. Это она, душа ангельская,
про немоту свою понимает. Русалочка эта вроде ей чета.
Только та-то хоть ведает, за что речи лишилась. А наша раз-
ве знает...

Перед домом сквер. За ним памятник: к площади пере-
дом, к нам – задом. В теплый день дети по перилам лазают.
Зимой перила скользкие, леденелые. От него за угол свернем
– вон они, купола.

Бабушка за спину взялась. Постоим, говорит, чуток. Пря-
мо с утра немеет, как не своя. Стоит, кругом оглядывается.
– Вот бы, – шепчет, – лет двадцать еще пожить...

Рядом иду, а сама думаю: старенькая, зачем ей столько?

– Поглядеть, чем у них дело кончится.

У кого это – у них?

Евдокия будто расслышала, буркнула сердито:

– У них, у этих... Большевиков. Ладно, – говорит, – ты,
знай, молчи. А бабку старую не слушай. Под ноги лучше гля-
ди, чтоб не упасть... Сперва в церковь, мне свечку поставить
надо. День у меня плохой – годовщина нехорошая. Потом

уж к колокольне прогуляемся. По каналу кружок сделаем и — домой.

Снизу сумрачно. Верхний храм нарядный. По лесенке взойдешь — красота неопиcуемая: золотом убрано, куда ни глянь.

Младенцем была, носили к причастию. Теперь боимся. Опять церкви рушат. Неймется им, аспидам. После войны стихли вроде. Теперь снова взялись...

Бабушка Евдокия в церкви строгая.

— Вот, — учит, — там алтарь. Перед ним ворота царские: отворят, все насквозь видать. Батюшки в алтаре ходят, словно праведники по небу. Вечером служба начнется — паникадила зажгут. Свет тихий, благостный. Оглянешься, душа радуется: золото горит, вспыхивает — так жаром и обольется.

Сходит, принесет свечек, потом за руку возьмет, подведет.

— Свечку, — говорит, — подтопи с исподнего конца. Крепко ставь, чтоб не упала. А глазами не шарь. Прямо на лик гляди. Теперь крестись, пока никто не видит. Да не так, горе: пальцы плотно сложи, сведи в шепотку. Проси Богородицу за души загубленные, грешные. Меня не слушала, может, к бессловесной снизойдет...

Лики строгие, темные. Огни под ними пляшут, бьются на свечах. Бабушка Евдокия говорит:

— Души живые теплятся. Прогорят, старуха черная явит-

ся, сметет огарки в подол. Вот и мы так: погорим-погорим и погаснем. Свечи-то до конца сгорают, а люди, бывает, и не до огарков.

С бабушкой Гликерией лучше ходить. С ней к Николаю-угоднику.

«Молись, – учит, – Софьюшка, за странствующих и путешествующих».

Он и в комнате у нее. А под ним огонь – в красной чашке. Бабушка подойдет. Стоит, разговаривает. Шепчет, шепчет. А он молчит. Видно, не умеет говорить.

«Николай, – рассказывает, – Святитель за всех заступается. Кто по морю плавает, кто в лесу заблудится – вот он на путь и наставляет. Во тюрьмах сидящих посещает, в болезни лежащих исцеляет...»

К иконе подведет – объяснит. «Вот, гляди. Вся жизнь человеческая представлена. И на этом свете, и на том. Там-то у них светло. В середине Господь сидит, а по сторонам его – праведники. Жизни прошлой не помнят: по-новому наслаждаются. А зачем им помнить? У них теперь другое, свое...

А внизу-то, – пугает, – ад. Тут уж муки: плач и скрежет зубовный. В аду, небось, грешники. Только Он и к ним спустится – снизойдет. Грешники всякие бывают: кто – закоренелый, а кто и по неразумию. Жизнь, – вздыхает, – как только ни складывается – в особенности пока молодая...»

Из церкви вышли, пошли вдоль канала. А там уж дом

страшный: дядьки огромные стоят. Бабушка говорит: истуканы, медные лбы. Мимо идем, глянула украдкой: вон ножищи какие. Наступят, прямо раздавят.

Кружком обошли, и – дома.

– Ну, – бабушка Гликерия раздеться помогает, – где были, что видели?

– Где ж мы с тобой были? – бабушка Евдокия отвечает. – В церкви, скажи, были, потом по каналу прошли.

– Ну, и как там? Морозно на улице? Намерзлись, поди?

Галоши сняли, валенки к батарее приткнули – пусть сохнут.

– Что это ты хмурая такая? – бабушка Ариадна показала, встала у притолоки.

– Да знамо что. Истуканов этих боится, – Евдокия платок разматывает. – Сколько ни говори, как об стену горох.

– Это же статуи, – Ариадна головой качает. – Разве можно их бояться?

За руку взяла, к себе ведет.

– Я же тебе рассказывала. Называются Атланты. Их скульпторы сделали из камня. Сказка такая, будто бы они землю держат. А внутри – полые. Пустые. Там только проволока, чтобы крепче держалось.

На столе карандаш, книжка взрослая, раскрытая. Подле нее листков пачка. Бабушка Ариадна по одному дает – рисовать.

– Порисуй, пока обед греется.
Ушла.

Сверху облако. Под облаком дом большой. Внизу канал длинный. Вдоль него загородка. Перед домом эти стоят – огромные. Головы черные, страшные. Внутри проволока. Пальцы большие топырятся – возьмут и уйдут с места...

Карандаш отложила, прислушалась: нет, не зовут. Снова карандаш взяла. Буквы большие, корявые. Вывела:

БОЛШЕВИКИ

– Что притихла? Рисуешь? – бабушка Ариадна заглядывает. К столу звать. – Ну, покажи, что ты там нарисовала?.. Господи боже мой... – пальцами рот прикрыла. Схватила листок, из комнаты пошла.

Бабушка Евдокия заходит, глядит грозно:

– Ты чего ж это, девка, удумала? Ума, никак, решилась? И себя, и всех погубишь. Глупости какие писать!

Нахмурилась, пальцем пригрозила:

– Гляди у меня!

* * *

– Ты, Евдокия Тимофеевна, все-таки следи за собой. Тво-

их ведь речей наслушалась. А представь себе, заговорит?.. Да, не дай бог, еще в школе... – Ариадна петли подхватывает, думает вслух.

– Ох, грехи наши тяжкие, – Гликерия вздыхает.

– При чем здесь наши грехи?

– Уж и не знаю, – Гликерия петли считает, – что и лучше.

При нашей-то жизни: языкастой или уж так, молчком.

– Чего ей в школе-то? И так, небось, грамотная, – Евдокия вступает виновато. – Я вон три класса окончила – на всю жизнь хватило. А наша-то и по русскому, и по французскому. Считать научиться – вот с нее и хватит.

– Ты, Евдокия, сама подумай: как это можно – без школы? Не заговорит – в *особую* направят, – Ариадна шепчет, будто опасается кого.

– Ну уж нет, – голос возвысила, – в *такую-то* не отдам. Костями лягу. Нечего ей там делать.

– То-то они костей твоих напугались, – Гликерия на дверь оглядывается. – Явятся, утащат силком...

За окном тихо. На стеклах цветы заплетаются. Шкаф зеркальный в углу. Глаза закрыла – страшно. Будто крадется кто-то, грозит утащить...

Голоса сухие, слабые, едва проникают. Бабушка Гликерия кофту вяжет – обещала на праздник. Кофта теплая, синяя. «Из старой, – говорит, – выросла, так мы ее распустим. Ниточек красных прибавим. Вот и в школу можно

идти...»

Распускать весело: нитка бежит, вьется, выскальзывает из петель. Гликерия за нитку дергает, Ариадна напротив сидит, наматывает. Как порвется, концы найдет, свяжет узелком. Комки пухлые, мягкие, старыми петельками завитые. Постирают – на веревку вешают, под каждый – мешочек с песком. Это чтобы петли выпрямить. А то новое начнешь, а старые петли и не лягут. А так – нитка гладкая, только рваная очень. Свяжут, вывернут – вся изнанка в узелках...

* * *

С работы пришла.

– Ну вот, съездила я в Гостиный. Спросила у них. Были, говорят, костюмчики, да все разобрали. А тут еще заказы с производства. Вот я и думаю: может, и наш местком заказал?

Картошек набрала, подстелила газетку. Руки за день устали: нож не держат. Ох, думаю, нехорошо мне последнее время. Утром иду – ничего вроде. А потом как подступит. И от еды ворóтит, тошнит...

– В воскресенье не забудьте – в контору нам, опять за мукой стоять. Зайду, узнаю: а вдруг запись с вечера? Говорили, в одни руки по два кило. Гвозди еще накалить. Прошлый год поленилась, погнила мука. Вы уж на воскресенье приготовьтесь, оденьтесь потеплее. Часа два выстоять придется, а

может, и все три.

Про дите смолчала. Все равно не пустят: нечего, мол, по очередям толкаться. Другие-то ничего: младенцев и тех тащат. А как же? Сколько явилось, на тех по счету и дают.

Ополоснула картошку, поставила. Шкурки теперь выбросить. С черной лестницы холодом несет.

На лестнице ведра помойные – стоят по углам. Мама шкурки картофельные выносит, в ведро бросает. Ведро полное, шкурки и высыпаются. Выглянешь, бабушка Евдокия сердится: «Куда, – кричит, – любопытная Варвара? Или Ворона Вороновича не боишься? Смотри, подкараулит...»

Ворон ночами прилетает, помойную еду клюет. Разворочит, поклюет шкурки и дальше полетел...

Пошла, по полкам пошарила.

– Нету, – говорю, – гвоздей. Снова на помойку тащиться.

– Ты, – Евдокия объясняет, – доски потолще ищи: в тонких гвозди-то мелкие, неподходящие.

– Сегодня уж не пойду – темно. До воскресенья есть время – успею прокалить.

Плита черная, огромная. Спереди дверка железная – поленья пихать. На дверке засов кованый. Поленьями набьют – на засов заложат. Огонь в печи крихтит, бушует. В щелку заглянешь – языки завиваются, так жаром и пышут. Близ-

ко-то страшно: Баба-яга подкрадется, живьем в печь пихнет...

Прокалят, достают щипцами. Гвоздья кривые, красные: остынут, в банки мучные запихивают, чтобы мука не погнила.

Картошку слила – ужинать сели. Сами картошки с постным маслицем, Сюзанне – сырок в обертке. Нечего, говорят, картошкой наминаться. Вырастет, успеет еще.

– Барыню, – смеюсь, – рбстите: может, икры ей паюсной купить?

Пужинали – из кухни пошли. Теперь читать примутся. Ну, думаю, пусть...

Бабушка Гликерия книжку отложила.

– Глаза, – говорит, – у меня болят. Слабые стали. К вечеру совсем слезятся. Сегодня так расскажу, что помню.

«В некотором царстве, в другом государстве жили-были король с королевой. Жили они дружно, только судьба их не баловала: не было у них детей. Они уж и всякую надежду потеряли, да бог милостив, послал наконец девочку. Обрадовались, имя красивое выбрали. Приглашают гостей...»

Ох, только теперь и заметила: детское в общем тазу замочила. Хорошо, старухи не видели – отдельно велят стирать. «Взрослая грязь едкая. За целую жизнь копится. Как ни мой-

ся, дочиста не отмоешь». Ладно, может, им и виднее. Сколько лет в Максимилиановской проработали. Няньками в приемном покое.

Вперед Евдокия устроилась. Потом других переманила. Так и дежурили – сутки через двое. В больнице удобно. Работа хорошая, легкая: примешь больного, белье казенное выдашь – снова седи. И сыта весь день. Кормят из больничного котла. Помыться если опять же. А еще и белье постельное: возьмешь комплект, застелешь. И грязное стирать не надо. Снесешь, сдашь сестре-хозяйке. Вот бы в общежитии так – а то сами стирали, для себя...

«...А колдунья та злая была. Страсть не любила, когда про нее забывают. Как прознает об этом, пакости принимается выдумывать: лишь бы по ее воле было. Король с королевой феям кланяются, за дары щедрые благодарят. Только сели за столы, слышат, гром небесный раздался: карета черная едет, вороном запряженная. Тот глазами бесстыжими шарит, клекочет по-своему. Колдунья из кареты выходит и – прямоком к колыбели. Без меня обойтись задумали? Ужо! Пальцем грозит. Я вам свой подарочек приготовила: пусть, говорит, живет, пока не вырастет, а как вырастет, спицей ядовитой уколется – вмиг и помрет...»

Тру, тру... Мыло склизкое, так и норовит выпрыгнуть. Белое вскипятить: тя-янешь бак на плиту. Остынет, снова про-

полоскать, потом уж – в синьку. Натягаешься, живот прямо схватит. Раньше-то ничего: полежишь, отходит. А последнее время – кровь. Немного. Денек-другой помажет. Подклады-вать все равно приходится. Тряпки эти отдельно стираю.

В подвале, во дворе общая прачечная. Которые хозяйки – туда ходят. Вначале тоже ходила. Потом зареклась. Жар, духота, котлы эти огромные. Пусть уж те, у кого коммуналки. На общей кухне много не настираешь. Мне-то хорошо: старухи рано ложатся, почитай, до ночи себе хозяйка...

«...Заплакал король, заплакала королева, а первая фея занавеску поднимает, выходит на белый свет. Это она заранее спряталась, чтобы колдовство злое застигнуть. Не плачьте, утешает, король с королевой: все равно по ее воле не будет. Мало у меня сил, чтобы колдовство отменить, но и сидеть сложа руки не стану: свое заклятье наложу. Пусть девочка ваша как вырастет, ядовитой спицей уколется – этого не миновать. Уколется, упадет замертво, но сама не умрет – только заснет надолго. А как пробьет ее час, глаза и откроются. Тут она навек проснется...»

Бабушка Евдокия в комнату заглядывает:

– Начитались? Теперь и спать пора. Огонь-то зажечь тебе? – Кнопку у ночника нашарила. – Не уснешь, небось, без огня.

Фонарик белый, на нем узоры красные – будто домик. По

бокам феи нарисованы, на маковке петушок золотой...

Постирала. Белье выкрутила. Всю кухню завесила. Хорошо, думаю, ночью. Тихо. Выглянешь – все окошки погашены. Будто и нет никого...

У Гостиного, почудилось, *его* встретила. Сердце прямо ахнуло. Удивилась только: важный стал. В шапке пыжиковой. Обогнала, глянула потихоньку. Гляжу – нет. И чего это я... Другой он. А какой другой? Так-то и не скажешь. Нет у меня таких слов.

Сколько лет прошло – лицо забывать стала. Говорят, в дочери проявится, поневоле вспомнишь. Особенно если в него. Пока что трудно сказать: вроде в мать мою, покойницу. А другой раз сядет, щечку этак подопрет, глаза к потолку – ну вылитый он. Лицом вроде и не похожа, а повадку переняла. Отродясь отца не видывала, а все будто помнит. А если заговорит? Неужто тоже как он? Опять ведь не пойму половину... Опомнилась: да пусть хоть как, хоть совсем на французском. Лишь бы заговорила...

В этих делах кругом непонятно. Девкой была, чудесам дивилась. Мать с отцом общие, а дети разными получаются. Один работающий, спину не разгибает, другой – лодырь, каких мало... Учителку в деревне спрашивала: как же так выходит? Не знаю, говорит. Все от природы.

Беременная ходила, тоже думала. К Зое Ивановне подступалась. «Все, – отвечает, – от воспитания. Что вложишь, то и

выйдет. Проворонишь, в отца своего вырастет, засранца». – «Чего уж, – говорю, – пенять теперь. Отец отцом, а я и сама виновата». Мать сколько раз остерегала. Разве учила – с первым встречным гулять?..

А еще, думаю, от имени много зависит. Взять хоть мое. Тонька да Тонька. Я тогда еще решила: если мальчик, в деда назову – мужикам все одно. А девочка – пусть с детства красивое имя слышит. Может, жизни моей не повторит.

По закону ведь как: отчество любое пиши. Зоя Ивановна советовала: «По деду записывай, по своему отцу». Ну, не знаю, думаю: нехорошо как-то, не по-людски. Пусть уж по правде будет. Так и записала.

Старухи, те по-своему рассуждают: «Что народилось, то и вырастет. Случается, и на елке яблоко завяжется, а бывает, и на яблоне – шишка». – «Что же, спрашиваю, тогда стараться, за дитем доглядывать: ежели уж, к примеру, шишка, яблоком не станет». – «Нет, – соглашаются, – не станет. А если яблоко, тут уж от людей зависит: дичком кислым останется или соком садовым нальется...»

Зажмурилась: клубки цветные катаются... Все нитки у них спутались. Бабушки концы подхватывают, связывают узелками... Занавеска на окошке колышется: фея за ней спряталась – злую колдунью ждет. А та Воронов Вороновичей запрягла, по улицам едет: мимо церкви, вдоль канала, к самому черному дому... Большевики на них глядят, раду-

ются. Пустыми пальцами шевелят...

* * *

– Вчера, – Ариадна жалуется, – совсем не спалось.

– Да уж слышала я, как ты у себя колобродила. Все слышно за стенкой.

– Пить очень хотелось, – оправдывается. – Сохнет в горле. Два раза вставала. Попью, лягу. Ничего не помогает.

– Пустую, что ли? Взяла бы, хоть валерьянки накапала. Или корвалолу.

– Лежу, думаю... Вот бы внук мой, Алешенька, пожил... Софья ему по годам – дочка.

– Ох, – Гликерия сахару кускового досыпает, – ладно, молчит пока. А заговорит – про отца ведь спросит.

Евдокия губы поджала:

– Пусть у матери своей спрашивает – мать-то на что?

Ариадна оглядывается, щипчики ищет.

– Сколько лет прошло... Так ни разу не появился. Видно, непорядочный человек.

– А может, помер уже?..

– Помрет он, жди-дожидайся, – Евдокия сухарь макает, размачивает. – Такие-то кобелины долго живут.

– Да ладно тебе, – Гликерия за него заступается. – А вдруг с того света любитесь, какая дочь у него выросла.

– Любуется он... – губы поджала. – Чем так-то любовать-

ся, помог бы девке: упросил – пусть бы заговорила.

– Ну, разве можно так, – Ариадна страдает. – Сами не знаете, что говорите. Дикость какая-то.

– Одичаешь тут, – Евдокия губами пожевала. – Счастье, что ты у нас культурная... Пропали б без твоего-то ума.

– Антонина говорит: пропал он... Пошел и исчез, – Гликерия глаза опустила, уткнулась в чашку. – Вот я и думаю... Чего он вдруг исчез? Мало ли что?..

– Глупости мелешь, – Евдокия волком зырк-нула. – Это ж когда было? В те-то годы, наоборот, выпускали. Кто выжил, многие и вернулись. Не то что... – Совсем рассердилась. Отложила сухарь.

Какой отец? Кого это выпускали? К кому вернулся?

– Ну, – бабушка Евдокия оборачивается, – закончилась твоя сказка? Вот и слезай со своего стульчика. А то, ишь, уши развесила! Привыкла к разговорам взрослым прислушиваться... А нечего тут слушать. Поди, у себя побудь.

К себе побежала.

Это же про ту девочку. Которая в шкафу живет.

Створку распахнешь – является: стоит, смотрит. У нас и платья одинаковые – бабушка Гликерия шьет. И комната на нашу похожа: стол, занавеска, стены желтые. Только

кровать одна – другой нету. Зато дверь у них. А еще лесенка. Отец ее по лесенке возвращается, из-за двери смотрит. Полюбуется на нее и снова уходит.

У них квартирка маленькая: зачем им? – бабушек-то нету. Бабушки здесь, со мной живут. А мама ее не спит и не готовит. Только волосы перед зеркалом причесывает. Причесется и тоже уйдет...

– Ну, чего, – бабушка Евдокия заглядывает, – опять перед зеркалом крутишься? Ох, гляди – вырастешь вертихвосткой...

Подошла, прикрыла створку:

– На улицу пора собираться. С бабушкой Ариадной пойдешь.

* * *

К ограде подходим, а там замок висит. И горка пустая – никаких детей нету. А в садике люди одинаковые. Ходят, лопатами снег гребут.

– Боже мой! – бабушка Ариадна заглядывает. – Солдат сколько... Пойдем, голубушка моя, к мостику, на львов посмотрим, полюбуемся. Львы добрые, смирные. Сидят, караулят. Внук мой Алешенька тоже их любил. Николенька, младший, не запомнил. А старший должен помнить. Мы с ним часто ходили, как с тобой. Он все про нас помнит. Вот вы-

растешь, тоже про него вспомни. Я умру, никого у него не останется: только ты одна...

Домой пришли. Поели, попили – отдыхать пора. Бабушка Гликерия одеяло подоткнула:

– Вот и спи, голубка. Праздник скоро. Надо бы игрушечки елочные проверить, вдруг побились. А побились – тоже не беда. Мы с тобой ниточек возьмем, корзиночек цветных навяжем. Мама подарок принесет, а мы конфетки-то в корзиночки и положим. Зачем нам эти шары?..

Картошкой пахнет. Сковородка в кухне шкварчит.

– Солдаты там. Снег сегодня убирают, – Ариадна в сквороте помешала, от плиты обернулась. – У нас в саду тоже батарея стояла. Артиллерийская. Я ведь сначала радовалась: думала, так и прослужит рядом с домом. Первое время забегал. Прибежит, тушенки принесет. Сначала ведь хорошо их снабжали. А потом, в сентябре, – всё. Батарею в Залив перебросили, на форты. А он меня утешал: «Ничего, мама... От Ленинграда близко. Скоро в увольнение отпустят». Письма часто писал. А потом смолк. Последний раз в феврале пришло: младший уже умер. А старший пожил еще – они потом, с невесткой, на следующий год...

Кивают, слушают. В который раз рассказывает, а все вроде внове.

– А кабы не умер никто, – Евдокия хлеба нарезала, – чем бы кормиться стали? Вон, глядите, с войны уж сколько прошло – а все муки не хватает. Вот и считайте: нас теперь четверо, значит, восемь кило дадут. А так твоих-то всех собери, да моих прибавь – сколько бы понадобилось? Снова голод.

– Ой, не говори, – Гликерия хлебушка взяла. – Весной-то прошлой, помните, у многих погнила. Жучок в ней завелся. Как идешь мимо, пакеты мучные валяются. Вся помойка засыпана. Белым-бело... Хранить, видно, не умеют. Наберут, наберут, а гвоздями и не проложат. Так-то бы и три года пролежала.

– До революции ихней, – Евдокия губы морщит, – гвоздями, небось, не прокладывали. А всем хватало муки.

– До революции, – Ариадна голову опустила, – народ тоже страдал. Не так, конечно... По-своему. Но все равно многие мучились.

– Мучились они! – Евдокия головой крутит. – От безделья они мучились, вот и все ихнее мученье. Кто работал, тот и не мучился.

– Полно, – Гликерия рукой махнула, – жизнь ведь прошла. Чего уж теперь?..

– Так мне-то, – утихает, – ничего. Мне на том свете муки не надо. Софью вот только жалко... Ей еще жить.

– А я вот иногда лежу, думаю: если б склады не разбомбили, может быть, и хватило бы муки... По радио говорили: огромный запас сделан...

Евдокия тарелки собрала. Смолчала.

Вода льется, льется – значит, тарелки моют. Теперь в комнату пойдут, нитки мотать.

* * *

– Ну, гляди, сперва донышко.

Пальцы ловкие, крючок так и прыгает – разве уследишь?

– Теперь стенки подыдем, свяжем по кругу.

Сверху каемка синяя, а к ней – ручка. За ручку на елку вешают.

– Помнишь, – бабушка Гликерия спрашивает, – какие у нас там игрушки?

Шары цветные, рыбки, звери разные из картона. Еще птички стеклянные – голуби. А вместо лапок у них крючки. Это чтоб за елку цепляться. У церкви тоже голуби: только другие, важные. Ходят, с боку на бок переваливаются. Их крупной кормят. Пшеница принесут, насыпят. Вот они слетаются и клюют.

Там, у церкви, старик страшный. Ездит на санках. А санки у него сломанные, совсем без спинки. Сам короткий, ноги пустые, вместо рук крючки воткнутые, из железа. Он их из проволоки согнул – крючками в землю упирается, сам себя толкает. Бабушка Гликерия сердилась: «Чего смот-ришь?

Отвернись. Это инвалид. Таким с войны пришел. Раньше много их было. Один теперь остался: другие-то поумирали, должно. Отмучились, голуби. Отдыхают на том свете».

А... Догадалась... Это они здесь страшные, а там – уже голуби. На том свете елку им поставили. Вот они на ней и сидят. Не мучаются, крючками за ветки схватились. Голубям рук-то не надо. Теперь у них клювы выросли: конфеты из корзинок клюют.

Бабушка нитку закрепила, растянула на пальцах.

– Ну, вот, – говорит, – все и готово. Можно крахмалить. А вечером сяду, еще корзиночку свяжу.

Отложила, за свою работу взялась. Близко посмотришь – крестики одни разноцветные.

– А ты, – велит, – подальше-то отступи. Издалека яснее видеть.

И правда, смотрю: конь, а на нем всадник с копьем.

Бабушка говорит:

– Вот он, Святой Егорий, отца моего заступник. Ты рядышком садись, вышивай свой цветочек, а я тебе про него расскажу.

«Было это в Ерусалиме, во святом граде. А посторон святого града – три царства беззаконные: Содом-город, Гомор-город и третье – безымянное. Вот Господь глядел-глядел на беззакония и послал Содом и Гомор сквозь землю. А на третье царство напустил змея лютого. Приползает змей на

соборную площадь и кричит страшным голосом: подавайте мне по человеку с каждого города! И осталось у них совсем мало людей...»

Нитку откусила, разглядывает.

– Тут, – обещает, – змей еще будет. Закончу, тебе подарю. А когда умру, память моя останется. У себя в комнате повесишь.

Бабушка Евдокия послушала.

– А я, – говорит, – скатерть тебе старинную оставлю. Полотно крепкое, камчатное, по кайме – розы. Гости придут, на стол накроешь – то-то они удивятся. А ты и объяснишь: бабушкино, мол, приданое.

Бабушка Ариадна услышала, к себе в комнату манит. Побежала за ней. А она на дверь оглядывается и говорит:

– Я тоже тебе подарок приготовила. Сережки старинные, бриллиантовые. Родительская память. Все в войну обменяли – только они и остались. В ушки тебе вденем. Ни у кого таких не будет. Вырастешь, в зеркало посмотришь, меня и вспомнишь.

Умрут, к той девочке отправятся, с ней будут жить. Девочка их встретит, обрадуется. Только комнатка у нее маленькая – жить тесно. Пусть и комнаты их умрут – чтобы всем разместиться...

– Что ж ты, – бабушка Ариадна говорит, – печалишься? Рано горе горевать. Мы ведь поживем еще, сколько Бог положит. А ты, пока молодая, хорошо живи, про нас не думай. Мы сами о тебе думать будем, любоваться. И жизнь твоя будет долгая... Ну, ступай на кухню. Пора молоко пить.

Пошла, а сама думаю: где ж им на том свете обедать? Надо, чтобы и кухня умерла.

* * *

Бабушка Ариадна через ситечко процедила: на, говорит, пей. К молоку пряник. Глазурь сухая, звездочками крошится, будто снежок.

Пряники из муки пекут. На том свете муки нету – значит, и пряников... Что же они там кушают? Наверно, суп...

Дверь в прихожей хлопнула, замок хрустит. Бабушка Гликерия заглядывает:

– Беги, встречай мать.

А мама сама заходит. К столу села, пригорюнилась:

– Сил моих больше нету... Все помойки облазала: только две доски и нашла. Вчера надо было – сегодня-то все хватились, растаскали... И гвозди кривые, ржавые – еле выдра-ла. Сейчас, – волосы поправила, – отдышусь... Почек купить

ведь думала. Рассольничек сделать. До гастронома дошла, а зарплата-то в пятницу. Так-то бы и хватило, да шесть рублей отложено, вдруг костюмчик принесут. Зоя Иванна обещала... Да, вот еще: на той неделе самая работа – план горит. Я мастеру сказала: если что, сверхурочно прихвачу. Сверхурочные к тридцатому выплатят. Я вот и думаю: вина бы надо на праздник. Муки получим, пирогов напеку. С картошкой или, может, с капустой. У нас одна тоже: торт, мол, куплю, в «Севере». Я и подумала: может, и нам? А потом думаю: нет. Баловство. Лучше сосисок взять или сыру. На праздник-то можно. Винегрет еще накрошу. Селедки с лучком. Встретим не хуже людей.

Евдокия говорит:

– Ребенку разве можно без супа? Ты хоть постного ей свари: картошечки нарежь, морковки. Молочком и забелим. До пятницы долго еще...

– Нам, – Ариадна оправдывается, – в четверг пенсию принесут.

– Господи, – прямо расстроилась даже, – да разве я про это? Со сверхурочными, так рублей восемьдесят выйдет. Прокрутимся. Ладно, – говорит, – пойду, полежу часок. Вы уж сами ужинайте. Устала...

– Селедочки-то хорошо... – Гликерия в пустую кастрюлю заглядывает. – Просолиться.

– Ты, – Евдокия сердится, – транжирка у нас известная: тебе лишь бы деньги трынкать.

Голова плохая – тяжелая. Продуло меня, что ли?

Легла. Плохо, думаю. Последнее время совсем будто мертвая. Хожу, делаю, а внутри пусто... Зима больно тянет-ся. Прямо не дожить до лета...

* * *

Зою Ивановну в перерыве нашла, спросила про костюмчик. А она и говорит: «Разговор к тебе есть. Зайди после смены».

Обратно иду, жена сытинская навстречу.

– Ну, как живешь-поживаешь? Эти-то не сдохли еще, старые ведьмы? С мамашей твоей ничего, ладят?

– Да, хорошо, – говорю, – живем.

– Ты смотри, потачек им не давай. Я вот жила, не давала. И не гляди, что старые – еще и нас переживут. Ох, попили моей кровушки. Володька маленький был. Чуть что – являются. «Уймите, – мол, – вашего мальчика, чтобы он в прихожей не кричал». – «Ага, – говорю, – может, ему и рот заклеить?» А Евдокия эта, злыдня: «Вот, – шипит, – и заклейте». – «Может, – говорю, – нам и всем рты-то позаклеивать? Руками объясняться, вроде немых? Лучше б, – говорю, – за своими детьми глядела, чем чужих гонять». Гляжу – молчит. А чего ей сказать? Ей сказать нечего. Я-то все про нее знаю, соседка снизу рассказывала: старший у ней – еще до войны

расстреляли, а младший и того хуже – тюремщиком ведь служил. Ох, замуж бы тебе, Антонина... Второго родишь, завод квартиру предоставит. Иначе так и не выберешься – из ихнего болота. Ишь, суки старорежимные!.. Мы когда еще получили... Въехали. Сколько лет прошло, а поверишь, до сих пор снится. Проснусь, прямо мокрая вся. А потом лежу и думаю: нету же их больше. Одни теперь живем. А внутри-то щемит, щемит: господи, думаю, вот же он – рай...

Все-таки сучка эта Сытина. Живет как у Христа за пазухой, а все туда же – тюремщик... Лишь бы сына чужого оговорить. И не боится. Свои ж сыны подрастают. А если их кто оговорит?..

Смена закончилась, в местком поднялась.

Зоя Иванна приглашает:

– Садись, Антонина. Что ж ты с дитем своим делаешь? Девке шесть скоро, через два года – в школу. Ладно, болела, пока маленькая. Так теперь вроде и выровнялась, а все с бабкой сидит. Нормальные детки в садик ходят. Вон внуки у меня: и рисуют, и песни поют, и стишки рассказывают. Мать-то у тебя неграмотная – как к школе подготовит?

– Да нет, – оправдываюсь, – ничего: Сюзанночка и буквы все знает. Читает помаленьку.

– То-то, – говорит, – что помаленьку. А в садике учителя специальные, спектакли ставят. Раз в неделю музыкальное занятие. Разве сравнить? Недавно и в театр кукольный води-

ли, на Седьмое ноября – под праздник. А как они к празднику готовились! Песенки, речевки разучивали. И питание в садике диетическое, разнообразное. Ты ж пойми: девочка твоя – не деревенская. Ей в городе жить.

– Спасибо, – говорю, – подумаю.

– Ты, – торопит, – скорее думай. Время уйдет – упустишь.

– Как там, – все-таки решила спросить, – костюмчик?..

– Ты, – хмурится, – Антонина, вроде и не мать, а мачеха.

Тебе дело говорят, а ты – про всякую ерунду. Вот вырастет девка старорежимная, локти станешь кусать, да уж поздно. Ладно, иди пока... А костюмчик обещали. К послезавтра, сказали, посмотрят. Может, еще и есть на складе. Мы ж их к ноябрьским заказывали – я и внукам брала...

Обратно иду, думаю: немоту-то от них скрыла. А ну как всплывет? У нас в цеху тоже одна была. На кислотах до последнего работала, живот себе перетягивала, чтобы поменьше видно. А мальчонка родился – сперва вроде здоровый. А потом глядят, а он и ходит плохо, и голова какая-то большая. Утешали сначала: ничего, может, выровняется. А потом пошло... Водянку мозга определили, который год по больницам... К ним попади только – затаскают по врачам. Со всем загубят девку. Нет уж, решаю. Не отдам. Живем хорошо, не хуже других. Ишь, театры у них... Так наша тоже пойдет в Мариинский. Обещали же – на балет. А праздники... Так и мы праздник устроим – елку нарядим, поглядим еще,

чья лучше... Господи, думаю, а все равно страшно. Вдруг да отымут?..

Через дорогу пошла, а сердце бьется, колотится.

Бабки-то умные, конечно... Так ведь и Зоя не глупая: правду говорит. Они-то свое прожили. А жизнь другая настала – чего они знают?..

Домой пришла. Разговор начинаю:

– У нас в цеху в очередь некоторые встали – на телевизор. Триста сорок восемь рублей.

– Старыми? – Ариадна уточняет.

– Да какое, – говорю, – новыми.

– Батюшки! – Гликерия руками всплеснула. – По-старому три с половиной тыщи.

– Телевизор-то, – говорю, – тоже новый, без линзы, – показывает как в кино. Может, и нам встать? А что? Передачи бывают хорошие: и взрослым, и для детей. Пока ждем, помаленьку и накопим: если каждый месяц откладывать – рублей хоть по тридцать. К Евдокии Тимофеевне поставим: вроде свой красный уголок. Вечером сядете, будете новости глядеть: где да что в мире происходит. В Америке, там, или... в Венгрии... И Сюзанночка посмотрит – ей же в школу идти...

Молчат.

– Ну, – говорю, – думайте пока. Сюзанночка радио любит, а телевизор еще и лучше.

Евдокия ворчит:

– Газеты, радио – все им мало. Теперь телевизор выдумали. Скоро в яйцо куриное заберутся.

– Зачем же так, – Ариадна ее укоряет. – Разве плохо передачу хорошую посмотреть?

– А ты, гляжу, за долгую жизнь не насмотрелась... А мне уж хватит. Сын мой тоже. Газеты все читал: «Надо, – говорит, – мамаша, всегда быть в курсе». Ага, думаю... Только курс-то ихний известный: читай, не читай – все одно не минует.

– Тебя послушать, до сих пор бы жили в каменном веке. Так лучину бы и жгли.

– Ну и жгли бы, – Евдокия плечами пожимает. – Кому она мешала, лучина-то?

Мама в комнату заглядывает:

– А ну-ка иди, я печку разожгла. На огонек полюбуешься. Побежала, маленький стульчик приставила, села против дверцы.

Мама говорит:

– Гляди, осторожно. Близо не подвигайся. Вот телевизор купим – тогда уж нагладишься. В телевизоре тоже как буд-то дверца, только другая, стеклянная. Называется экран. В электричество включают, глядь, а там огонек занимается, как звездочка, а потом вдруг вспыхнет, и картинки разные бегут: чудеса... Показывают, рассказывают: где, да что, да как людям живется. Другие-то смотрят, а сами ума набираются. Вот

и ты насмотришься, а потом и в школу пойдешь. Учительница тебя спросит: «Встань, Беспалова Сюзанна, ответь: знаешь ли, что такое кукольный театр?» А ты и ответишь: «Конечно, знаю. Я по телевизору видела. Там куколки такие хорошие. Которые из дерева, а которые из тряпок. Вот им пальцы внутрь-то засунут, а они знай представляются: то плачут, то смеются. Как живые». Тут она обрадуется: «Садись, – скажет, – Сюзанна Беспалова. Ставлю тебе пятерку». А дети тоже удивятся: «Надо же! В детский садик не ходила, а сама все знает...»

Мама дверку распахнула, кочергой в печке шевелит. А жар от печки горячий, прямо в глаза бьет. Дверку заложила, глазки рукой вытирает.

– Ничего, – плачет, – не бойся. Все хорошо у нас будет. Ну, поди к бабушкам...

– Ну, – бабушка Евдокия пуговички расстегивает, – и на чем вы с бабушкой Гликерией остановились? Ох, – вздыхает, – голова моя садовая, ничего не помнит. А... – говорит, – вспомнила. Мачеха-то ее из дома выгнала. Пусть, мол, в лесу пропадает.

Платице на спинку повесила, сама на краешек села.

«Вот она живет в лесу, а у мачехи этой было зеркало, да не простое, а волшебное. Глянешь в него, всю страну видать: что, да где, да кто как поживает. Вот мачеха его и спрашивает: “Как там моя падчерица? Неужто без меня хорошо жи-

вет?” А зеркало как вспыхнет: “Хорошо, – отвечает, – ей живется. Живет, не тужит. День ото дня краше становится”. Тут мачеха озлилась, бабу кухонную зовет. “Поди, – велит, – вырядись странницей, а я тебе платье красивое дам, ядом его напитаю – ты моей падчерице его и подари”. Баба платочек повязала, женщиной доброй прикинулась да в лес этот и пошла.

Вот охотники возвращаются, а в доме что-то неладно. Входят, а сестрица их на полу распростерши. Лежит, не дышит. Долго они глядели-присматривались, а про платье и не подумали. Чтобы его снять. Погоревали, да делать нечего: смастерили гроб стеклянный на железных цепях. Девушка в нем лежит, сама будто живая. А мачеха никак не уймется, снова страну свою оглядывает – зеркало пытается: “Что ж там моя падчерица? Навсегда ль умерла?..”»

– Спишь, что ли? Ну и ладно, вот и спи пока...

* * *

– Ну, – Евдокия начинает, – думайте с этим телевизором.

Утро раннее, серенькое. «У микрофона Мария Григорьевна Петрова». Величают по отчеству, а голосок слабенький, детский, будто и жизни не жила. Таким-то голоском в самый раз сказки рассказывать.

Софья на стульчике замерла – слушает.

– Да дорого больно, – сомневается Гликерия, – прямо и

не знаешь...

– Другие ведь как-то покупают. Антонина говорит, в очереди стоят.

– Так, может, денег у них много? Куры, видать, не клюют.

– Откуда?.. – Гликерия рукой машет. – Теперь господ нету: на зарплату живут либо на пенсию.

– Не скажи, – Евдокия бутылку взяла, молока в чай плеснула. – Помнишь, в сорок четвертом-то? Блокаду едва сняли – бабу к нам привезли. Сама толстая, сытая... – чаю хлебнула, сморщилась, будто кисло ей.

– Скисло, что ли? – Гликерия напугалась.

Молчит. Уткнулась в чашку.

– А мальчонка у ней еле живой родился. Доктор определил – жиром своим задушила. Муж еще к ней ходил, по всему видать – знатный. Передачи носил богатые. Вот она закрывается под одеялом и жрет.

– Помню, – Гликерия вздыхает, – как же не помнить: колбасой-то как пахло... Несешь передачу, голова кругом – хоть в обморок вались. Выписываться стала, я ей одежду принесла, а она мне ломтик сует – вроде в благодарность. Вышла я, в уборной от всех закрылась – проглотила. Кусочек-то махонький. И часа ведь не прошло – вырвало. Прямо куском и вышел. Что же это со мной, думаю? Неужто человеческую еду не принимаю? Привыкла к жмыху...

– Человеческую... – Евдокия опять морщится. – Какая ж она человеческая? Люди-то хлеб ели... Ну, маргарин ко-

гда. А то ведь и клей обойный. И хорошо еще, если клей. В первую зиму кончился. Сосед у меня, мальчонка, так и вовсе уголь грыз. Достанет из печки и грызет. Так и помер с головешкой. Рука мерзлая, а сам-то держит, держит... Разжали едва. И рот черным измазанный... Колбаса у ней, видать, испортилась, вот она гнилье и отдала.

– Ох как пахло! – Гликерия будто и не слышит. – А после войны-то, когда в магазине появилась, я ведь до-олго не могла. Как понюхаю колбасу, прямо изнутри подступает... Ох, – опомнилась, – не к столу...

Ариадна хитрая, разговор переводит:

– Соломона Захаровича помнишь?

– Ну, как же! – А сама смеется мелко, аж покраснела.

– Еще бы, – Евдокия фыркает, – ей не помнить! У них же в войну – шуры-муры...

– Да какие там! – машет. – Что он, что я – живые покойники. Так... Разве – поговорить...

– А после войны? – Ариадна в чашке мешает, глаза отвела притворно.

– Виделись, – кивает. – Замуж меня звал. Жена у него погибла – к матери перед самой войной поехала. В Белоруссию, что ли... А обратно и не вырвалась – осталась под немцем.

– Ну, а ты чего? – Евдокия жевать бросила, слушает.

– Так детки у него. Двое. Подумала, подумала. Не пошла на детей. Мужик-то он неплохой, и врач уж очень хороший. А все равно не решилась. Жалела его – это правда. Он ко-

гда еще говорил: вот войдут в Ленинград, меня с девочками первыми расстреляют. Я еще, дура, не верила: думала, все под немцем одинаковые.

– Ихняя нация, – Евдокия сердится, – хоть от немца... А наша все больше – от себя. Воистину сами себе – первый враг. Чужие-то только задумать успеют, а мы уж, глядь, и сделали. Против немцев-то мы – герои. Вот бы так – против себя...

– Ну как же можно! – Ариадна прямо расстроилась. – Сама не знаешь, что говоришь. Грех с немцами сравнивать!..

– А ты, – ворчит, – прислушайся. Ежели своего ума не хватает... Ладно. Хватит чаевничать. Ребенку гулять пора.

На улице совсем распогодилось.

– Ну, – бабушка Евдокия спрашивает, – дойдем до мостика? Поглядим, вдруг елки привезли?

Подходим, а с той стороны – загородка. За ней елки, лапами топорщатся. Дядька чужой караулит.

Елки худые, тощие. Иглы на землю рассыпались. В лесу другие, пушистые – как на картинке.

Бабушка говорит:

– Ох и елки! Откуда ж они берутся такие – палки одни... Уж не знаю, – сомневается, – что и делать. Может, взять, пока народу мало. А то с работы пойдут и эти расхватают. Дядька калитку открыл: «Выбирайте».

Ходим меж елок, смотрим. Бабушка Евдокия сердится:

– Елки-то мертвые... В прошлом году, что ли, срубили?.. – Выбрала вроде. – Эту, – велит, – давай.

Дядька ловкий: петлю на елку набросил, спеленал. На санки кинул – везите.

– Вот, – бабушка говорит, – дотащим с тобой, под лестницу и спрячем: мне на этаж не поднять. Мать с работы вернется, пусть сама тянет...

– Ну, – бабушка Гликерия встречает, – где ходили, что видели?

– Елку, скажи, купили, под лестницей спрятали. Насилу и выбрали. Иголки так и сыпятся, будто год у них пролежала.

В комнату пошла, цветные карандаши достаю. Бабушка Ариадна кивает:

– Молодец. Елочку красивую нарисуй.

Красивая елка, пушистая. На ветках шары большие, корзиночки конфетные. А между ними инвалиды безногие – на крючках. Им на том свете не больно. Висят, не мучаются, отдыхают...

Только место внизу осталось. Канал пририсовала. Решетка у него черная, и мы с бабушкой идем. А в санках у нас елка спеленатая, мертвая: год как пролежала. Это с того света отдали: сами попризднуют и нам отдают. Глаза зажмурила – буквы большие вижу. Нет. Нельзя писать. Опять заругают.

В кухню побежала. Бабушка Ариадна говорит:

– Очень красивая картинка! Все правильно: елку привезли, теперь разукрасим.

– Господи, – бабушка Евдокия заглядывает, – чего это у тебя там, в санках? Будто покойник какой. Чего, – говорит, – улыбаешься? Вот так-то и возили в блокаду. В рогожу завернут, на санки положат и везут. Идешь, смотришь: маленький, значит, ребеночек. Сколько их в первую зиму-то свезли...

– Во вторую, – Ариадна вздыхает, – не меньше.

– Больше, – ворчит, – меньше... Кто ж их тогда считал...

* * *

– Да-а, – Евдокия головой качает, – хорош...

– Там еще красненький был, да я этот выбрала. – Мама на диване разложила, любитесь.

Бабушки стоят, кивают:

– Еще бы! Красный – ни в какое сравнение.

– Шерстка мягонькая, – мама рукой гладит, – прямо как теленочек. Мы ведь до войны корову держали. Потом зарезать пришлось.

– Вот тебе и китайцы... – бабушка Евдокия вздыхает. – Раньше-то и не слышно про них: все японцы да японцы. А они, гляди-ка, чему научились.

– Как это – не слышно! – бабушка Ариадна заступается. –

Китайцы – народ древний. Почти пятьдесят веков.

– Вот-вот... Еще пятьдесят пройдет, глядь, и мы чему-нибудь научимся.

– Да нешто не умели! – бабушка Гликерия руками всплеснула. – Всё мы умели! Раньше какую красоту делали: и вышивки золотые, и кружева... Блузки плетеные, шляпки, рубашки шелковые, подзоры – графиня моя, покойница, нашу работу предпочитала...

– Ой, – вспомнила, – ленты-то! Я же ленты еще купила.

– Прямо и не знаю, – бабушка Гликерия ленты разглаживает, – форменная принцесса... Самой-то как, нравится?

– Ладно, – мама говорит, – вы уж наряжайтесь, а я картошки почищу.

– Ну, – бабушка Евдокия командует, – скидай платье.

– Вот, – Гликерия в кухню выводит, – пусть мать-то полюбуется.

– Батюшки! – изумляюсь. – Чья же это девочка такая в костюмчике – и не узнать! Неужто доченька моя родная?

– Она, – Гликерия радуется, – она. Вот ленты в голову вплетем, тогда и в театр можно.

Картошку слила, ужинать сели.

– Ну, что там, – спрашиваю, – решили про телевизор?

– Решили, – Евдокия за всех отвечает, – вставай.

– А я вот, – створку оконную распахнула: холодно между

окон – масло хорошо стоит. – По Гостиному шла, отдел у них большой – ткани. Ох, и материалов! И шерсть, и ситец, и штапель... Может, и мне какое сварганить, фланелевое? Мое-то совсем старое – светится на локтях.

– Что ж, – Евдокия отвечает, – дело хозяйское. Разбогачу, гляжу.

– Ладно, – опомнилась, – это ж я так, на будущее.

– Да чего это я! – Евдокия спохватилась. – Совсем из головы вон. Елку сегодня купили. Под лестницей на санках привязана. Ты уж сходи, забери.

Посуду помыла, прислушалась: уснули вроде... Ладно, передохну маленько, потом уж притащу. Глаза закрыла: материи эти висят. И женщины ходят: щупают. Вроде сами и не молоденькие, а одеты хорошо. Видно, мужья зарабатывают. Одна-то особенно. На пальто себе выбирала. Сама в шубе, а еще и на пальто. С родственницей, видать, пришли. Тоже богатая. Советуются. Подошла, посмотрела: батюшки, восемнадцать рублей за метр. Что ж это, зарплаты у них такие – по эдакой цене покупать?..

Вниз спустилась, а там – темень. Вот паразиты, думаю! Снова лампочку вышибли. Парни дворовые, хулиганят... Влезла под лестницу, нашарила. Все руки себе исколола.

Гликерия в комнату зашла. Стоит, мнется.

– Чего хотела-то... Фланель эта – почем, например, за метр?

– Так, разная, – отвечаю. – Которая с цветами да поплотнее – дорогая. По два сорок пять.

– Новыми?

– Конечно, – говорю. – Теперь всё – новыми.

Стоит, губами шевелит:

– Три метра – семь рублей, считай... А та, другая, что пожиже?

– Пожиже-то, – отвечаю, – бумазея, по рубль сорок. Со всем внатруску и маркая очень.

– Ты вот что, – в юбке пошарила, кошелек достает. – Теперь у меня рубль восемьдесят только. Пенсию на днях принесли. Съезди, купи два отреза, сама выбери, которая получше. А я сошью – и тебе, и себе. Одинаковой только возьми: лоскутки останутся, передничек еще соберу.

– Сюзанночке? Ей-то, – говорю, – зачем? Неужто с детства к венику прилаживать?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.